



Москва

9
2013

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей России

Российский Фонд Мира

Трудовой коллектив
журнала «Москва»



9

2013

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юрий ПАХОМОВ. <i>Гражданин мира. Повесть</i>	3
Владимир КРУПИН. «Я изменил Диане Кан с землячкой Светой»	55
Светлана СЫРНЕВА. <i>Глаголев. Роман в стихах</i>	58
Николай ЖЕЛЕЗНЯК. <i>Дождь на полпути. Рассказ</i>	78
Нина ПРОНЧЕНКО. <i>Лерка. Рассказ</i>	102
Валерий ГАНИЧЕВ. «Молодая гвардия». 1968–1978. <i>Из воспоминаний</i>	115

ПУБЛИЦИСТИКА

Артур АТАЕВ. Статус и перспективы русского населения на Северном Кавказе	147
Игорь РОМАНОВ. Стратегические приоритеты дальневосточной политики России	160

КУЛЬТУРА

Алексей ШИШКИН. Феномен «светской святости» в русской литературе XIX века	168
Наталья ЧЕРНЫШОВА-МЕЛЬНИК. Эхо драмы на Миллионной, 12	181
Юрий АРХИПОВ. Роковая женщина рубежа веков	188
Вячеслав КИКТЕНКО. Ржевский Алексей Андреевич. <i>Антология одного стихотворения</i>	196

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

«Общением с тобою я дорожу...» Переписка М.А. Волошина и С.Н. Дурылина	199
---	-----

МОСКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

Олег ТОРЧИНСКИЙ. Прогулки по Москве 220

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Игумен НИКОН (ВОРОБЬЕВ). Письма к духовным чадам 225
Эдуард БИРОВ. Осознание зла в детстве 238

Главный редактор В.В. АРТЕМОВ (495) 691-71-10

Генеральный директор В.В. КОВАЛЕВ (495) 691-83-91

Ответственный секретарь О.И. КИРЕЕНКО (495) 691-83-64

Отдел прозы и поэзии Т.А. НЕРЕТИНА (495) 691-68-01

Отдел культуры О.Ю. ТАРАНЕНКО (495) 691-68-01

Домашняя церковь С.И. НОСЕНКО (495) 691-68-01

Главный бухгалтер Л.Э. БУДНИКОВА (495) 691-83-84

Заведующая редакцией М.В. БИКАШОВА (495) 691-71-10

Корректор О.И. ИВАНОВА

Технический редактор Е.Ю. ЕРОФЕЕВА

Общественный совет:

Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСИЙ (ФРОЛОВ),
игумен ЕВФИМИЙ (МОИСЕЕВ), П.Н. КРАСНОВ, В.Н. КРУПИН, В.А. КУЛЬЧИЦКИЙ,
П.В. МУЛЬТАТУЛИ, И.И. ПЕРЕВЕРЗИН, В.Г. РАСПУТИН, А.С. САЛУЦКИЙ,
М.Б. СМОЛИН (председатель), архимандрит ТИХОН (ШЕВКУНОВ),
И.Р. ШАФАРЕВИЧ

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отклоненные рукописи сохраняются в течение года. Рукописи, присланные по электронной почте, не рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции. Журнал не публикует поэмы, либретто и сценарии.

Подписано в печать 26.08.13. Формат 70x108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ 2613.

Свидетельство о регистрации № 554 от 29 декабря 1990 года Министерства печати Российской Федерации

Подписные индексы: **73253** — каталог РОСПЕЧАТЬ, **15612** — «Пресса России», **45211** — каталог «МАП».

Адрес редакции: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 20. Телефон +7(495) 691-71-10. Факс +7(495) 691-07-32.

Электронная версия журнала: www.moskvam.ru

e-mail: priem@moskvam.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор», 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1. Сайт: www.chpd.ru; e-mail: sales@chpk.ru, 8(495)988-63-87.

ISSN 0131-2332

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

© Журнал «Москва» № 9, 2013

ЮРИЙ ПАХОМОВ



ГРАЖДАНИН МИРА

Юрий Николаевич Носов (Юрий Пахомов) родился в 1936 году в Горьком. Окончил Военно-медицинскую академию. Полковник медслужбы в отставке.

Служил на подводных лодках и надводных кораблях Черноморского и Северного флотов. В период с 1976 по 1987 год — главный эпидемиолог ВМФ страны. Участник военных действий в различных «горячих точках». Награжден орденом Красной Звезды и многими медалями.

Автор более двадцати книг, многих журнальных публикаций. Отдельные его произведения экранизированы. Наиболее известен фильм «Послесловие», поставленный на студии «Мосфильм» режиссером Марленом Хуциевым.

Лауреат литературной премии имени Константина Симонова и Всероссийских литературных премий «Прохоровское поле» и «Правда — в море».

*Член Союза писателей России.
Член Высшего творческого совета.*

ПОВЕСТЬ

1

Вторую половину августа я обычно провожу на итальянском курорте Лидо-ди-Езоло, всегда останавливаюсь в отеле «Европа». Я заранее резервирую номер с видом на море, пляж в пяти минутах ходьбы, в холле отеля уютный бар, в котором можно сидеть часами, глядя на пеструю толпу туристов, стекающую по многокилометровой центральной улице Адреа.

Нынешним летом на курортах Венецианской Ривьеры вошли в моду длинные, до колен, купальные трусы самых диких расцветок. Трусы выглядели одинаково нелепо как на тощих подростках, так и на тучных отцах семейства. Женщины предельно обнажились. Я давно отметил, что человечество, утратив эстетические ориентиры, потянулось к уродству: в моде бритые черепа, накачанные силиконом груди, туземные татуировки и пирсинги в ушах, носу и даже в потаенных интимных местах.

Да, я забыл представиться: Пьер Симон, художник, писатель, журналист. В той, прежней жизни, которая теперь мне самому кажется выдуманной, меня звали Петр Семенов. Я — парижанин, более тридцати лет живу в студии на рю Лафайет. Мне круто за пятьдесят, но редко кто дает больше сорока пяти, рост метр восемьдесят пять, блондин спортивного сложения. И то, что я слегка прихрамываю, — следствие огнестрельного ранения, — по утверждению одной итальянки, придает мне особый шарм.

Я довольно состоятелен, к тому же неплохо зарабатываю, пишу для газет и журналов очерки, эссе, оформляю книги, рисую карикатуры, иллюстрации к комиксам. А недавно в одной из престижных галерей в Париже состоялась выставка моей графики. Я здоров, лишь изредка пользуюсь услугами стоматолога, единственное, что беспоко-

ит, — бессонница. В Лидо-ди-Езоло я борюсь с ней испытанным способом: душными вечерами сливаюсь с толпой, фланирующей по центральной улице курорта, и как бы становлюсь частью этого плотного потока, в котором утрачивается индивидуальность, а значит, исчезает и прошлое. Прошлое таит в себе опасность.

Толпа приплясывает, поет, дудит в дудки, хохочет. Хлопают петарды, в черном небе с треском рассыпаются разноцветные звезды фейерверка, по велосипедным дорожкам шуршат шины четырехколесных велокаров, восторженно визжат дети, молодые парочки, обнявшись, ныряют в черные провалы улиц, ведущих к морю, и там, на песчаном пляже, предаются любви. На уличных перекрестках какие-то молодые люди в цилиндрах подбрасывают в небо светящиеся шары.

Человеческая река, достигнув полутемной окраины, разворачивается и течет в обратном направлении. Магазины, лавки с сувенирами, рестораны, кафе, бары забиты туристами, они едят, пьют, смотрят телевизоры, и в равномерном гуле, напоминающем усиленное воркование голубей, ощущается страстное желание жить, словно на Землю уже нацелился метеорит-убийца и населению планеты отмерены не годы, а дни или даже часы. Я обхожу любимые бары, понемногу алкоголь делает свое дело, возвращаюсь в отель, принимаю душ и валюсь в черный, осклизлый колодец, на дне которого возникают и гаснут сны. Сны — единственное, что меня связывает с прошлым, сны реальнее воспоминаний. Воспоминания как бы принадлежат другому человеку.

Вчера мне приснился Гриша Снесарь. На нем была форма советника: хаки, высокие шнурованные ботинки, на поясе кольт сорок пятого калибра в брезентовой кобуре. Так он выглядел на фотографии африканского периода. Гриша погиб в Эфиопии, на границе с Суданом, в 1978 году, я в это время был в Эритрее.

Алкоголь спасает до трех утра; когда за окном гаснет шум резвящейся толпы, вновь оживает бессонница. Ее не прогнать и ничем не перебить, она — живая субстанция, что-то вроде искусственно созданного интеллекта, с которым неизбежно вступаешь в спор, мысли отрывисты, я не могу их собрать в некую логическую схему, фразы всплывают, гаснут, как на мониторе компьютера.

В последнее время меня стали раздражать люди. Чтобы до предела сократить общение с соплеменниками, я встаю в пять утра. Пляж пуст, на лежаках капли росы, вода прозрачна, в воздухе скользят чайки, на голубой линии горизонта медленно движется белый лайнер. Природа стерильна, и строй мыслей иной, чем ночью.

Портье вызывает такси, я еду в Punta Sabbioni, сажусь на рейсовый теплоход и через сорок минут оказываюсь в Венеции, на площади Святого Марка. Венеция прекрасна ранним утром. Гранд-канал выкрашен в голубой цвет, голуби опрятны, туристов мало, магазины закрыты, и в воздухе еще не стоит гнилостный запах потревоженной воды. Я брожу по узким улочкам, и звук моих шагов эхом отлетает от старинных, в прозелени стен древнего города. Завтракаю обычно в кафе на пьядца Santi Giovanni e Paolo. Свежие булочки, кофе, апельсиновый сок. Город-мираж, любимая игрушка человечества, постепенно просыпается. В сумке альбом, блокноты, ручки, карандаши. В кафе я и работаю. Зарисовки, наброски, фрагменты эссе с иллюстрациями. Всю эту дребедень охотно покупают американские, французские, бельгийские и немецкие журналы, особенно если в зарисовках или в тексте есть некоторая фривольность. Я вполне могу не

работать, но сам по себе факт, что, доставляя себе удовольствие, я неплохо зарабатываю, создает иллюзию некой душевной гармонии.

Сегодня я проснулся поздно, с тяжелой головой: вчера перебрал в баре, привел в отель молодую датчанку, широкоплечую, мускулистую. Едва выпроводил ее под утро. Чашка кофе в баре отчасти вернула меня к жизни. Сел в автобус, следующий в порт. В салоне бубнили итальянцы. Самая говорливая нация в мире. На площади Святого Марка копошились туристы, в толпе мелькали ряженые в масках, рожденные болезненной фантазией Иеронима Босха. В любимом кафе с трудом нашел свободный столик. Напротив за сдвинутыми столами разместились молодые туристы из России. В центре — рослый, красивый парень, длинные светлые волосы перехвачены кожаным ремешком, какие в старину носили ремесленники. Большие солнцезащитные очки закрывали часть лица.

— Леха, ну спой что-нибудь, — попросила одна из девушек.

Парень извлек из футляра гитару и, настроив, запел хрипловатым, приятным баритоном. Я отложил альбом и прислушался. Леха пел песню, которую я слышал в России в исполнении Гарика Сукачева:

Свобода! Этот дурманящий запах,
Свободный дух обоняют носы.
Строй диссидентов восьмидесятых
Следуют в сторону колбасы.
Прощайте, герои...

Попытался вспомнить, где я впервые услышал песню, и не смог. Скорее всего, у Марианны. У нее стеллаж с дисками.

Светловолосый отложил гитару, снял очки, и я вздрогнул: насколько этот доморощенный бард был похож на поэта Олега Охупкина. Сходство поразительное. Холодком обдала мысль: в последнее время меня окружают мертвецы. По площади стекала группа туристов из Швеции, и мне показалось, что среди них вышагивает Гриша Снесарь с армейским рюкзаком за плечами.

Впервые имя питерского поэта Охупкина назвала моя двоюродная сестра Марианна, затем, несколько лет спустя, Одиль Дюран. Господи, сколько воды утекло с того времени!

После первого курса Военного института иностранных языков, во время летних каникул, я махнул в Ленинград погостить у своего дяди Василия Григорьевича, полковника, преподавателя Артиллерийской академии. Дядя Вася частенько заезжал к нам в Москву. Как-то приехал с дочерью Марианной, нескладной пухлой девицей, была она тремя годами старше меня, и вся ее энергия уходила на то, чтобы выказать мне свою неприязнь.

В Ленинграде я был впервые и, когда поезд остановился под закопченными сводами Московского вокзала, испытал что-то вроде разочарования, которое усилилось, когда за окном «Волги» замелькали однообразно серые дома Литейного проспекта, рассеченного прямыми, скучными улицами, в глубине которых стоял зеленый туман. «Волга» свернула на Моховую и замерла у шестиэтажного дома в стиле модерн начала двадцатого столетия: лепка, витражи, на фасаде ангелочки, похожие на рептилий, подъезд, убранный решеткой, за которой проглядывался двор-колодец.

Первое ленинградское потрясение (потом их было немало) — Марианна. Дверь открыла красивая блондинка, в которой трудно было узнать

мою обидчицу. Разве что голос. Глянув на меня, она, усмехнувшись, пропела:

— Па-а-а! А что это за тип? Грузчик со станции Ленинград-товарная?

— Маша, принимай гостя. То твой брат Петя.

— Быть не может, па-а-а! Тот был хилый какой-то, слизнячок. А это мужик. Ты ничего не напутал?

Мог ли я тогда предположить, что через много лет Марианна станет мне самым близким человеком, а летние каникулы в Ленинграде обернутся одной из ярких страничек моей путаной жизни, в которой будут и Анечка, и долгие прогулки по северной столице, и поездка в Зеленогорск? Шаг за шагом Марианна откроет мне мир Петербурга: Мойку, Фонтанку, дом, где жил Достоевский, Летний сад, в котором из густеющей к вечеру синевы проступают мраморные статуи. Марианна заканчивала филологический факультет Ленинградского университета и знала много такого, о чем я и представления не имел. Незадолго до моего отъезда в Москву Марианна спросила:

— Петя, кто из поэтов тебе нравится? Классики — ясно. Возможно, Евтушенко, Вознесенский. Все это вроде супового набора для интеллигента средней руки. А вот Ахматову и Пастернака тебе приходилось читать?

— Если честно, нет.

— Да-а. Ну а о поэтах «второй культуры» что-нибудь знаешь? Охапкин, Кривулин, Бобышев?

— В смысле поэты второго сорта?

— Петя, да ты просто дуб, вроде моего Игорька. Но тот, понятно, артиллерист, ему поэзия по фигу.

— Да и я не студент филфака. Кстати, сестричка, а кто у нас Игорек?

— Мой жених: майор, защитил кандидатскую, его оставили на кафедре, где преподает отец. Папаша мне его и сосватал. Игорек докторскую диссертацию кропает. Вот посмотришь, я из него генерала сделаю.

...Пройдет без малого десять лет, и мы втроем: Марианна, я и Одиль — будем сидеть на кухне этой старинной квартиры на Моховой. Мой дядя к тому времени упокоится на Волковом кладбище. Вот тогда я и познакомлюсь с поэтом Олегом Охапкиным. И оттуда, из полузабытого далека, передо мной всплыло красивое, усталое от многодневного пьянства лицо поэта, его темно-русые волосы были перехвачены кожаным ремешком. Лицо возникло и исчезло.

На край моего столика уселась белоснежная голубка, у нее были розовые лапки и черные глаза Одиль. Рядом, гремя стульями, размещались туристы из Германии; несмотря на раннее время, мужчины были уже изрядно навеселе. Двойник Охапкина перебирал струны гитары, голубка вспорхнула и растаяла в розовеющем от зноя небе.

2

И опять снился Гриша Снесарь, но не заматеревший, в форме советника, а совсем юный — худенький, в клетчатой рубашке, коротковатых брюках. Мы шли с ним по улице южного города, нас обтекала толпа, угрюмая, молчаливая, у всех были знакомые и вместе с тем трудно узнаваемые лица. Гриша сказал: «Видишь, их давно уже нет, а они все идут и идут». Затем тускло освещенные аллеи парка, между деревьев неясные фигуры людей, они возникают, исчезают и появляются вновь...

Я лежал во тьме, в отдалении шумело море. Второй день дул северо-западный ветер, но он не принес на побережье Адриатики прохладу. Сквозь серую пелену проступило лицо тети Поли. Она была чем-то недовольна, губы поджаты. «Ты поставь Григорию свечку, ему там и полегчает», — сурово сказала она. Это был не сон, а скорее видение. У меня на лбу выступили бисеринки пота.

...Мне было два года, когда семья переехала из Кишинева в Краснодар и там, в столице Кубани, я наконец вырвался из пестрого хаоса младенчества, где определяющими были яркие цвета и запахи. Первое постижение жизни, родства: мать, отец, домработница тетя Галя. Муж Галины Ивановны умер от ран после войны, она работала уборщицей в городской бане, что на Красноармейской улице. Семья жила впроголодь. Я не помню, кто порекомендовал моей матушке Галину Ивановну в качестве домработницы, но мои занятые родители вздохнули свободно, когда в доме появилась эта улыбчивая, работающая женщина. А чуть позже появился и ее сын Гриша, черноглазый, худой, большеротый мальчишка, ставший для меня единственным другом.

Мои мудрые родители сделали все, чтобы я ничем не отличался от Гриши. Мы вместе ходили в детский сад, потом в школу, учились в одном классе. И ели мы всегда за одним столом. Нас считали братьями. Гриша с матерью жили в доме на углу улиц Ворошилова и Леваневского. После нашей розовой пятиэтажки, где обитали семьи крайкомовского начальства, двор Гриши Снесаря поразил меня своим уютным захолустьем. Сложенные из кирпича домики лепились один к другому, во дворе стояли беленные известью печки, на которых летом готовили еду, посреди двора торчала чугунная водопроводная колонка, а в конце щели между обитыми бурой жестью дровяными сараями помещалось «удобство» выгребного типа.

Населен двор был интереснейшими людьми. Там был свой сумасшедший, свой толстяк — самый толстый человек в городе, обитала колдунья и ворожея, жила тайной жизнью воровская семейка Пашенных, компанию дополняли бывший командир подводной лодки и самоубийца Ленька-морьяк, постоянно убегавший из дома и застрелившийся из нагана, когда я учился во втором классе. Разнообразие характеров, сложность взаимоотношений, терпимость, взаимовыручка, добро и зло обозначены были в этом дворе просто и четко.

Мама иногда разрешала мне ночевать у Гришки. И как необычно было засыпать на жестком топчане в крошечной горнице, особенно летней ночью, когда в распахнутое окно затекал запах влажной земли, слышались приглушенные голоса и смех укладывающихся во дворе на ночлег жильцов! Часов в пять утра тишину раскалывал грохот — сумасшедший Игорь выкатывал со двора тачку, отправляясь на вокзал на заработки. Железные колеса лязгали по булыжникам мостовой. Как часто в Париже, в своей студии на рю Лафайет, я вспоминал краснодарские ночи, вставал, шел к бару, выпивал глоток бурбона, а утром просыпался с мокрым от слез лицом.

Иногда мы с Гришкой отправлялись в дальние путешествия. На велосипедах мы уносились по шоссе в сторону Энема, мост гудел под колесами, а внизу пласталась могучая река Кубань. В лицо бил упругий ветер, он пах перезревшими помидорами и нагретыми за день початками молодой кукурузы. Иногда мы срывались на рыбалку.

В 1966 году отца перевели на работу в Москву, я скучал по Гришке, но через три года переписка оборвалась, и я до поры ничего не знал о судьбе друга.

Черкать карандашом в блокноте я стал с детсадовского возраста, в начальных классах оформлял школьную стенгазету, в Москве, когда я стал ходить в кружок рисования при ДOME пионеров. Учился я средне, четверки, пятерки по гуманитарным предметам, легко давался французский, а по математике и физике плелся на троечках. Физику, помнится, вел желтолицый, раздражительный старичок с копной жестких, как проволока, седых волос, торчащих в разные стороны. По школьной традиции, ему дали прозвище Швабра. Как-то раз я одним росчерком нарисовал карикатуру на Швабру. Сосед по парте Костя Лялин восхитился: «Гениально! Сделай несколько зарисовок, я покажу их матери, она работает художником в издательстве, книжки оформляет. Давай после уроков ко мне. Я тебе кое-что покажу».

Лялин жил в мрачном доме на Дорогомиловке. В квартире-мастерской царил невообразимый хаос: вдоль стен громоздились картины, подрамники, рулоны бумаги, у широкого окна громадный стол, заляпанный краской. Часть комнаты выгорожена ширмой — там обитала мать Кости. В уголке однотумбовый стол, за ним Лялин делал уроки. Витая железная лестница вела на антресоли, там кто-то громко храпел. В комнате-мастерской стоял бражно-кисловатый запах, словно недавно открыли бочку с капустой. Я, с детства приученный к чистоте, когда за порядком в квартире следит домработница, паркетный пол натерт мастикой, хрусталь в горке отбрасывает на стену солнечные зайчики, а цветы в горшках издают едва различимый аромат, опешил и замер на пороге.

— Проходи, чего ты?

— Никого нет?

— Нет. Мать с эскизами у автора.

— А кто же храпит?

— Федор Константинович, портретист, любовник матери. Третий день в запое. Не обращай внимания. Да не снимай ботинки, кругом гвозди валяются.

Лялин, сдвинув тюбики с красками, разложил на огромном столе мои рисунки, прищурился:

— А что, здорово. Во всяком случае, необычно... Ты где учился?

— Нигде. Так, сам.

— Приходи к нам в кружок рисования при ДOME пионеров. Ведет кружок Семен Семенович Ципко. Не бог весть какой педагог, но руку поставить может.

Откуда мне тогда было знать, что мои карикатуры будут охотно публиковать ведущие иллюстрированные газеты и журналы Старого и Нового Света и что я буду оформлять книги Нобелевских лауреатов!

Отцу некогда было заниматься мной, мама умерла, когда я учился в седьмом классе, — за два месяца сгорела от острого лейкоза, — единственным человеком, кто серьезно отнесся к моему увлечению рисованием, была тетя Поля.

Полина Силовна Морозова появилась у нас незаметно. К тому времени в квартире уже хозяйничала приходящая домработница Зинаида Павловна, полная дама с обвисшими щечками, подкрашенными губками, которые она постоянно облизывала, отчего казалось, что она сосет леденец. Говорила она, жеманно сюсюкая: «Коклетки, мяско, крикаделечки, борщик». Белый фартук, кружевная накладка на вытравленных перекистью волосах, оттопыренный мизинец. И пахло от нее какой-то сладкой, прилипчивой помадой. Я возненавидел Зинаиду Павловну с первых дней, ревновал к тете Гале, матери Гришки. Готовила домработница отвратительно. Отец дома только завтракал, а давиться «супчиком» и «мяском»

приходилось мне. Зинаида Павловна была обидчива, плаксива, к тому же я заметил, что она стащила у покойной матери дорогую косметику.

Полина Силовна была ее полной противоположностью. Первое, что мне пришло в голову, когда я ее увидел, — это поразительное сходство с портретом Софьи Ковалевской из учебника математики. И одета так же. Отец пригласил Морозову на роль репетитора, чтобы подтянуть мой французский язык и дать уроки английского. Таков был наказ моей покойной матушки. Раньше Полина Силовна преподавала в педагогическом институте.

Я не запомнил, как исчезла Зинаида Павловна, зато отпечталось в памяти, как воцарилась в нашей семье Полина Силовна; мне казалось, что ее слегка побаивается даже отец. Тетя Поля никогда не повышала голоса, вполне хватало ее интонации, отец не надевал галстук без ее совета, она же следила за его гардеробом, звонила при надобности управделами, ходила в цеховский распределитель. Самой уничижительной фразой ее была: «О нет, это моветон». В десятом классе я свободно говорил на французском и мог недурно объясниться на английском языке.

Отец к моему решению поступить в Строгановку отнесся неодобрительно:

— А оно тебе нужно?

— Больше меня ничего не интересует.

— Ну, положим, ты еще сам себя хорошо не знаешь. Художник, к тому же прикладник, какая-то несерьезная профессия. Впрочем, решать тебе. Как ты понимаешь, в качестве протеза я выступать не буду.

— Догадываюсь.

Меня срезали уже на творческом конкурсе. Профессор в замызганном пиджачке сказал:

— У вас, молодой человек, искаженное сознание. Графика — сплошные модернистские выверты.

Костя Лялин с его тщательно выписанными кубами, гипсовыми обломками и slashавыми акварелями легко преодолел конкурс и так же легко поступил в институт.

Из Строгановки я возвращался пешком. Зашел в рюмочную и первый раз в жизни выпил две рюмки водки, закусив высохшими до картонной твердости бутербродами с килькой. Когда после блуждания в сумерках я вернулся домой, тетя Поля встретила меня нейтральной полуулыбкой и сказала, что у нас гость.

В гостиной в кожаном кресле сидел солдат с красными погонами. Я узнал Гришку Снесаря.

— Привет, Петро. Если бы я не был в форме, меня не пустил бы охранник внизу. Хорошо выглядишь.

— Почему ты, скотина, не писал? Почему не звонил?

— Прости, обстоятельства, брат. Мама умерла, из института выперли за драку. Потом армия, занимался радиоперехватом в тьмутаракани.

— Ты в отпуске?

— Что-то в этом роде. Приехал поступать в Военный институт иностранных языков.

— Куда-куда?

— В ВИИЯ. Он в Лефортове.

— Занятно. Ну что же, будем поступать вместе.

— Как? Мне Полина Силовна сказала, что ты в Строгановское училище нацелился.

— Отпадает. Художник — несерьезная профессия.

В понедельник утром я отправился в институт сдавать документы, ехал до станции метро «Бауманская», дальше трамваем в Лефортово. Отец был в командировке в Болгарии, не думаю, чтобы он стал меня отговаривать.

Столько лет прошло, а я хорошо помню тот день. С утра было жарко, поливальные машины обдавали мостовые водой, в веерах брызг на мгновение возникали радуги. На перекрестках улиц торговали газировкой, разноцветные цилиндры с сиропом ярко отсвечивали на солнце. И как-то особенно хороши были девушки в легких платьях. Рабочий люд схлынул, пассажиров в трамвае немного, о мутное стекло упрямо бился крупный шмель, тревожно пахло духами. И этот запах, и шмель, с зудящим звуком соскальзывающий со стекла, навсегда запечатлелись в памяти.

Институт я разыскал без труда. За железным забором угрюмо проступали старые казармы, за ними, в глубине двора, виднелись две современные многоэтажки.

Документы у меня принял гладко выбритый, лысый майор. Когда я сказал, где работает мой отец, майор коротко глянул на меня и сделал пометку в блокноте. Как потом выяснилось, среди абитуриентов было много сыновей крупных военачальников и партийного руководства.

Абитуриенты, прибывшие из округов и с флотов, сдавали экзамены первыми, гражданские, вроде меня, после них. И я, и Гришка сдали экзамены на «отлично», нас распределили на западный факультет, во вторую языковую английскую группу. Снесаря, как старослужащего, назначили командиром группы. Кроме западного факультета, был еще и восточный, куда более многочисленный. Слушателей этого факультета называли коротко — «арабы». СССР в ту пору принимал участие в войнах на Ближнем Востоке: в Египте, Сирии, Йемене. Еще не было ни Афгана, ни Чечни, но «арабы» возвращались из командировок с боевыми наградами, советскими и иностранными. А иногда их доставляли в западных цинковых гробах, которые устанавливали в актовом зале института для траурной церемонии.

До поры мне, вчерашнему десятикласснику, поступление в институт казалось чем-то вроде забавы, отвлечением от недавней неудачи со Строгановкой. Но когда захлопнулась железная дверь КПП, а меня переодели в курсантские шмотки, я испытал что-то вроде потрясения. Выяснилось, например, что наш институт не отыщешь ни в одном списке высших учебных заведений страны. Более того, из туманных намеков старшекурсников я уяснил, что ВИИЯ — одно из подразделений разведки, замыкающихся чуть ли не на ГРУ. Каких только языков не изучали в институте! Европейские — понятно, но были еще индийский, амхарский, японский, китайский, фарси и даже иврит. Кроме западного и восточного факультетов, был еще факультет спецпропаганды, на котором учились только офицеры. Кого он готовил, я так и не узнал. Институтом тогда руководил генерал-полковник Антонов, по прозвищу Дедок, седовласый старик, герой многочисленных легенд, историй и анекдотов. Порядки в институте царили суровые, уже во время начальной подготовки нам дали понять, что «служба не мед». Строевые и тактические занятия, марш-броски, кроссы в противогазах плюс все радости казарменной жизни, где каждый твой шаг регламентирован. За полтора месяца из нас вышибли вольный дух. Когда начались занятия, положение не улучшилось. Увольнение в город раз в неделю. Если схватил двойку или нарушил дисциплину, сиди в казарме и не рыпайся. Изменились отношения между людьми. Гришка Снесарь, друг детства, едва ли не брат, в служебной обстановке держался со мной холодно и сухо. Спуску не давал. Правда, если наказывал меня за наруше-

ние дисциплины, то и сам не ходил в увольнение. Караулы, дневальства, наряды на кухню.

Наконец все потихоньку притерлось, встало на свои места, мы вошли в служебный ритм. Основное — изучение языков. Военными предметами слушателей института особенно не терзали, разве что на кафедре оперативно-тактической подготовки, где преподавали седовласые мастодонты с армейской выправкой. Доставали занятия по физической подготовке, где среди прочего изучались приемы боевого рукопашного боя.

Институт по статусу приравнялся к военной академии: три года в казарме, затем вольная жизнь, москвичи — дома, иногородние в общаге, которую именовали на западный лад «Хилтон». Нас и называли слушателями, а не курсантами. И все же казарменные годы были скорее курсантскими, когда сплачивается боевое братство. Были и драки, и темные устраивали, и в самоволки отрывались ребята, не без того. Уже со второго курса каждый слушатель должен был сдать экзамены на права вождения автомобиля. Документ выдавался только во время командировок и после окончания института, все остальное время он мирно лежал в сейфе начальника факультета. В этом ограничении была своя логика. Учитывая, что факультеты, особенно западный, состояли из сынков начальства, около института нужно было оборудовать специальную автостоянку. Слушатели бы приезжали на автомобилях, а преподаватели — на трамваях и автобусах. Непорядок.

Слушателей института английских языковых групп регулярно использовали в качестве бортпереводчиков. За пределами Союза все радиопереговоры с землей велись на английском, летчики языка не знали, потому подсаживали нас. Летали в основном в Сирию и Египет. Режим: перелет, отдых и назад — в Крым, Подмоскowie. Летали по гражданке, на самолетах Ан-12, Ан-22. Заграничными командировками такие полеты не считались, потому валюту нам не платили, перелеты над Турцией частенько сопровождались встречей с американскими «фантомами»...

Время, время... Неужели все это было? Стоит мне закрыть глаза, как я вижу погруженную в сумрак улицу, голубые вспышки над дугами трамваев вдалеке, строй слушателей, грохот сапог по мостовой — и вдруг ударяющая в небо молодецкая песня: «Генерал-аншеф Раевский сам сидит на Взгорье, в правой руке держит первой степени Егорья!»

3

Что-то особенно щеголеватое есть в венецианских гондольерах, в их тельняшках с широкими полосами, соломенных канотье с красными и синими лентами. Осанка, точные, размеренные движения, тяжелые янтарные капли соскальзывают с лаково поблескивающего весла...

Трудно изобразить на бумаге грацию гондольера, для контраста я делаю зарисовки слегка перепуганных туристов, рассеявшихся в гондоле. Да простят меня Гойя и Босх, я использовал их экспрессивную манеру. Почему-то особенно отвратительно выглядят нувориши из бывшего Советского Союза. Иные нанимают гондолы на два часа и, хлопнув «вискаря», гнусными голосами поют песни...

После окончания института Гриша получил назначение в Сомали, я — в Эфиопию. Военные переводчики — обслуга, технический персонал, низшее звено. Правда, даже крупных военачальников порой брала ото-

ропь, когда ты свободно переходил с английского языка на французский и так далее. Но это вовсе не означает, что после завершения переговоров тебя пригласят за стол; скорее всего, ужинать придется в компании адъютантов, пилотов самолета, водителей — словом, все той же обслуги. Мне удалось повысить свой статус, я за полгода более-менее освоил амхарский язык, чем только осложнил свою жизнь. Теперь я был, что называется, нарасхват. Английский язык знают эфиопы, получившие образование в Европе или Америке, остальные говорят только на амхарском.

Аддис-Абеба — красивый город. Правда, несколько необычно видеть на площадях и улицах столицы портреты Ленина, Маркса, Энгельса, как в майские праздники в Москве. Новый режим декларировал строительство социализма, в городе полыхал «красный террор», людей расстреливали прямо на улицах. Трупы для устрашения подолгу лежали на тротуарах, улицы заполнили молодые вооруженные люди. Советникам, жившим с семьями на арендованных виллах, выдали «калаши» с полным боекомплектом. За вождение автомобиля в нетрезвом виде иностранцам грозил пожизненный срок, а пили в нашей колонии по-черному. Тезис, высказанный руководителем новоявленной республики: «При социализме не может быть прокаженных», — обернулся тем, что власти закрыли часть государственных лепрозориев, больные хлынули на улицы, у светофоров совали в окна автомобилей изуродованные проказой руки, требуя денег. Страна жила тревожной предвоенной жизнью. Не менее взрывоопасная обстановка складывалась и в Сомали, где служил Гриша Снесарь.

Еще слушателем я стал писать заметки для институтской газеты, увлекся фотографией. На день рождения отец подарил мне профессиональную фотокамеру со съемными объективами. Навыкигодились. Я мотался по Эфиопии с делегациями, мои фотографии как-то даже попали в хроннику ТАСС.

Нередко добираться до Аддис-Абебы приходилось на перекладных: из Массауа вертолетом в Асмару, дальше — любым из бортов. Если борт эфиопский, нет гарантии, что пилоты не изменят маршрут и не посадят самолет на каком-нибудь военном аэродроме. Пару раз я куковал в Дебризейте, ночевал в пустой диспетчерской будке, на крышу которой с лязгом садились грифы, а в зарослях джунглей поскуливали и взвизгивали гиены. Змеи заползали на плоскости самолетов и грелись на утреннем солнышке.

В декабре 1978 года, под католическое Рождество, я с трудом вернулся в столицу, машину за мной не прислали, пришлось ловить такси, до «гадючника» доехал в сумерки, распахнул дверь своей комнаты. На моей койке спал незнакомый мужик в форме советника. Мерзавец даже не потрудился снять ботинки. Рубчатая подошва сорок третьего размера тускло отсвечивала в свете бра. На стуле около койки лежал кольт сорок пятого калибра. Я потянулся к графину с водой. Незнакомец пошевелился и голосом Гришки Снесаря ворчливо сказал:

— Только попробуй облить, морду набыю.

Я стянул Гришку за ногу с койки, и некоторое время мы боролись, катаясь по полу, пока друг не провел удушающий прием и я беспомощно не похлопал его по спине. Гриша встал, включил верхний свет. Я едва не ахнул: лоб друга рассекал рубец с красными точками снятых швов. На левой половине груди, над карманом форменной рубашки, тускло отсвечивал орден Красной Звезды.

— Гриш, что это у тебя?

— Орден.

— На лбу.

— Зацепило под Харгейсой. Сомалийские доктора штопали. Без анестезии, суки.

Снесарь расстегнул молнию сумки, извлек виски «Белая лошадь» и две банки консервов.

— Слушай, Григорий, как ты оказался в Аддисе?

— Турнули наших военспецов из Сомали. Ребята, кто уцелел, по домам. А меня сюда на усиление кинули. Вы же тут ни хрена не справляетесь.

— Сволочь ты, Гришка. Небось уже старлейскую звездочку отхватил?

— Капитан.

— Ну... А почему я до сих пор лейтенант?

— Служишь плохо. У меня — досрочно. Стопарики у тебя есть?

— Товарищ капитан, а в каком качестве вы изволили прибыть?

— Старший группы переводчиков. Уяснил?

Мы просидели за бутылкой до трех утра. За окном уже начали бубнить горлинки, с улицы доносился монотонный гул; я глянул в окно — по проезжей части медленно ползли крытые брезентом кубинские грузовики с боеприпасами. В пустыне Огаден и в Эритрее шли ожесточенные сражения с участием наших военных советников, нашей техники и подразделений кубинских войск, переброшенных в Эфиопию на кораблях советского Военно-морского флота. Наш ВМФ также был втянут в боевые действия в Эритрее, корабли артиллерийским огнем поддерживали наступательные операции эфиопской правительственной армии в районе порта Массауа. В ходе боев в Массауа был высажен танковый взвод морской пехоты Тихоокеанского флота. Тем же летом на острове Нокра архипелага Дохлак был заложен пункт материально-технического обеспечения советского Военно-морского флота для ремонта и доснабжения наших подводных лодок и надводных кораблей; кроме того, в Асмаре была развернута военно-воздушная база, куда командировали меня на неопределенный срок.

За те месяцы, что мне были отпущены для общения с Гришей, я как бы заново узнал своего друга. Гришка и в школе, и в институте казался мне слишком уж правильным. Он серьезно относился к комсомольским поручениям, терпеть не мог анекдотов с политическим душком, учился истово, словно совершал некое священное действо. Гриша раньше меня вступил в партию, и, похоже, сознательно. Я понимал, что ему придется пробиваться в жизни самому, у него не было такой поддержки, как у меня, и все же...

Война в Сомали обожгла Гришу, но не выбила из колеи.

— В нашем королевстве, Петя, не все благополучно, — говорил друг, сидя на скамейке в пыльном дворе «гадючника». Комнаты офицерского общежития были нафаршированы «жучками», поэтому в нашей келье мы разговаривали только на бытовые темы. — Думаешь, руководители нашей страны не знали, что происходит в Сомали и Эфиопии? На стол послу ежедневно ложились донесения, аналитические справки о положении дел в провинции Огаден, о событиях в Эритрее. Все это уходило наверх, в инстанции. А там — глухо. Как же, Сиад Барре и Менгисту строят социализм! Я — за социализм, но разумный. И вообще, хорошо бы сначала построить социализм в СССР, а потом кормить разного рода авантюристов. А когда жажнуло и в пустыне Огаден началось кровавое побоище, с двух сторон наши советники, наше вооружение, выпускники военных академий воюют друг против друга — это что? На моих глазах сгорел в танке Левка Гриценко из первой английской группы... Давай фляжку, Петро, душа горит.

— Да тут все на виду. Сдадут.

— Плевать я хотел. Амебная дизентерия опасней. Я ведь не пил до поры, а как переболел этой мерзостью, стал прикладываться, помогает. Газеткой прикрой и глотни. За Левку! Да-а, я поколесил по Сомали! Красивая страна, народ отзывчивый, особенно те, кто победнее. Как, впрочем, и везде. Баскалия, пересохшие реки, банановые плантации, гигантские черепахи. Роскошные особняки в Могадишо, а рядом каменный век, дикая бедность. Представляешь, есть места, где на ланей еще охотятся с луками и стрелами. Я не верю, что у нас в Генштабе нет аналитиков, способных оценить военно-политическую обстановку на Африканском Роге. Но все решают не они, а геронты.

— Геронты?

— Политбюро в полном составе с послушными министрами.

— Ты даешь!

— Это не я даю, а они, Петька. Разве с самого начала было не ясно, что в Бербере нельзя строить нашу военно-морскую базу? Я ведь там был и все видел. Взлетно-посадочная полоса для тяжелых самолетов, система беспричальной подачи топлива на корабли и суда, грузовые терминалы, военно-морской госпиталь, дороги — миллиарды долларов! И что? Нас вышибли из Сомали, и теперь все это богатство достанется сомалийцам. Не удивлюсь, если скоро там появятся американцы, они-то не спешили вкладывать деньги, зная, что регион нестабилен. Обидно, друг, давай еще по глоточку...

Война в Эритрее набирала силу. В Асмаре был развернут советский медицинский отряд, укомплектованный военными врачами из госпиталя имени Бурденко и окружных госпиталей. Палаточный городок отряда вместе с мобилизованными эритрейскими госпиталями занимал несколько гектаров. В городе действовал комендантский час, после восемнадцати часов солдаты правительственных войск обстреливали из пулеметов автомобили даже с дипломатическими номерами. На каждом перекрестке стояли блокпосты: зеленые мешки с песком, защищающие пулеметное гнездо, траншеи, из которых торчали зеленые каски пулеметчиков. В Асмаре раньше существовала американская авиабаза. После военного переворота сохранились парк самолетов, капониры, общежитие для летчиков и технического персонала, бар, казино.

Наши летуны обосновались в мрачной, красного кирпича казарме. Первым делом оборудовали русскую баню с шайками и березовыми вениками, которые доставляли бортами из России.

Асмара — город, построенный итальянцами на высокогорном плато. Белые, увитые бугенвиллеей виллы, зеленые площадки для гольфа, рестораны, дорогие магазины. Я полгода прокантовался в этом городе-курорте, где днем в пивном баре можно было встретить руководителей Фронта освобождения Эритреи и полевых командиров, мирно потягивающих пиво, а вечером, передохнув, они выходили на тропу войны. При мне повстанцы сожгли ракетами два наших вертолета Ми-8, парочку самолетов Ил-38 и повредили Ан-24. Эритрейцы на верблюдах подвозили ракетные установки, сделанные из блоков НУРС, и шмаляли по аэродрому. Мы открыли щели, ходили с личным оружием, а кто и с «калашами».

Командировки в Асмаре считались чем-то вроде поощрения. Температура днем не поднималась выше двадцати пяти градусов, а горный воздух был настолько чист, что казалось, во рту лопаются ароматные пузырьки нарзана. Куда хуже было застрять в Массауа, на берегу Красного моря. В этом городе-порте ртутный столбик перемахивал отметку плюс сорок

пять градусов в тени при абсолютной влажности. Прилететь с группой на несколько часов — одно дело, а торчать месяцами — совсем другое.

В начале мая в Асмару прилетел Гриша Снесарь. Вид у него был озаченный.

— Ну как ты тут? — спросил он, потирая шрам на лбу.

— Кручусь. Одно хорошо: в баре пиво бельгийское — класс. Пошли к летунам, они баньку натопили.

— Потом. Завтра тебе предстоит командировка: сопровождать гэрэушников, будете облетывать на вертушке границу с Суданом. Вроде бы оттуда гонят караваны с оружием для сепаратов.

Я вздрогнул, у меня похолодела спина. До сих пор не могу объяснить этот приступ страха, острого желания не лететь. Предчувствие? Подлый страх?

— И надолго? — после паузы спросил я.

— Дня на три. Дозаправка на полевых аэродромах. Командировка легкая, страну посмотришь, ее западную часть.

— Понимаешь, я бы с нашим удовольствием... Но завтра должен позвонить отец...

Я врал, ненавидел себя в этот момент и ничего не мог с собой поделать.

— Когда звонок?

— Как обычно, вечером, часов в десять, когда не так загружена спецсвязь.

— Ясно. Значит, полечу я. А тебе будет задание покруче: лететь с моряками на архипелаг Дохлак, точнее, на остров Нокра. Рекогносцировка. Там, как ты знаешь, будут строить нашу военно-морскую базу. В Асмару возвращаетесь через Массауа, опасный район... Душа не лежит туда тебя направлять.

— Ладно. В первый раз, что ли...

Летели двумя «вертушками». Группа серьезная, руководитель — вице-адмирал, остальные капитаны первого ранга, полковники. Нокра — жуткое место: раскаленная кочка в теплом до приторности море. Единственное сооружение — развалины итальянской тюрьмы, построенной для особо опасных преступников еще при Муссолини. Туда летели из Асмары над перевалом, затем над морем.

Из рассказов Гриши Снесаря я знал, что Бербера в Сомали не сахар, и все же это какой-никакой городок, с первичными признаками цивилизации. Нокра — каменная столешница с тремя жалкими кустиками. Направить в такое местечко служить можно либо за серьезные проступки, либо заманить валютой.

Назад возвращались с приключениями. Специалистам потребовалось осмотреть в Массауа портовые сооружения и место водозабора пресной воды. На чудо-островке Нокра в дополнение ко всем прелестям не оказалось питьевой воды, и доставлять ее придется водолеями. Суэта у здания администрации порта не понравилась сепаратистам, и они дали по нам залп из минометов. Замешкайся мы минут на десять, и членов группы рекогносцировки пришлось бы соскребывать со стен развалин. Из-за усилившегося минометного обстрела мы минут сорок не могли вылететь на вертолете в Асмару. Наши морпехи дали ответный залп из танковых орудий, и сепаратисты затихли. Перелет через перевал тоже особой радости не вызвал. Чтобы поднять настроение моряков, командир базы в Асмаре пригласил группу в офицерский клуб, где уже были накрыты столы. Мужики, ясное дело, оторвались по полной, чуть позже к компании присоединились эфиопские летчики. Я не успевал переводить тосты. В самый

разгар пьянки в зал протиснулся мой коллега Витя Леонов. Был он бледен, изрядно пьян, из кармана торчала бутылка виски.

— Петя! Сейчас позвонил дежурный... На границе с Суданом сгорел наш вертолет. Все погибли... И капитан Снесарь. Я знаю, вы дружили с детства. Возьми бутылку и выпей. А я тебя подменю.

Я вышел в холл, выпил виски из горлышка и не опьянел.

Самое страшное было разбирать Гришины вещи. К счастью, их было немного, да и отправлять их было некому — у Гриши не осталось родственников. Вертолет взорвался и сгорел на самой границе, обломки рухнули на территории Судана, обнаружить их не удалось, наверняка не очень-то искали, пришлось обойтись без «груза 200», ограничились имитацией похорон. У человеческой психики немало загадок. В то время у меня как-то выпало из сознания, что лететь вдоль границы с Суданом должен был я, Гришка заменил меня и погиб. Осознание своей вины пришло позже. А тут и меня беда задела своим черным крылом.

Я тогда в очередной раз застрял в Массауа. Сепаратисты сожгли на аэродроме вертолет, у двух других выработался моторесурс, а может, летчики не горели желанием пересекать кольцо блокады. Ходил слух, что у сепаратистов появились ракеты «земля — воздух». Желаящих покинуть Массауа становилось все больше и больше. Раза два в месяц, иногда чаще, бронеколонна — бэтээры, бронемшины, грузовики — по горным дорогам пробивалась через линию фронта. Сепаратисты их почему-то не трогали. Я был оглушен гибелью Гриши, мне осточертел душный порт, где в воздухе витал сладковатый запах разложения, — видно, не все трупы удалось вытащить из-под завалов, — поэтому добивался, чтобы мне разрешили идти с бронеколонной, и всякий раз налетал на отказ.

Жил на брошенной итальянским миллионером фантастической вилле, напоминающей летающую тарелку, севшую на бетонных лапах в море. С берегом виллу соединял металлический трап с леерами, хозяин, видимо, слегка тронулся на страсти к кораблям, потому в этом странном сооружении были круглые иллюминаторы, вместо лоджии подобие капитанского мостика, и даже антенна по форме напоминала корабельную мачту. Никелированные трапы спускались в море, место купания ограждено нейлоновыми сетками от акул.

Раньше на вилле жили советские врачи, работающие в местном госпитале по контракту. Вскоре ко мне присоединились два майора из Главного разведывательного управления. Мы сатанели от скуки, по вечерам резались в карты. Город лежал в развалинах, начались перебои с водой и продовольствием, жизнь теплилась в двух-трех магазинчиках и аптеке, принадлежавшей итальянцам, где за смешную цену можно было купить медицинский спирт. Итальянцам не приходило в голову, что спирт можно пить. Майоры наловчились ловить на наживку — тухлое мясо, нанизанное на крючок, — огромных морских щук — барракуд и варили из этих чудовищ уху.

Наконец из Асмары прилетела «вертушка». Мне досталось место на полу, рядом с оранжевым баком с топливом. Вертолет с трудом оторвался от взлетно-посадочной полосы и боком, накренившись вправо, пошел на запад, медленно набирая высоту. Мне столько раз приходилось летать по этому маршруту, что я без труда мог представить, что лежит там, внизу, за легкой рябью облаков: сначала зеленое предгорье с квадратами ячменных и кукурузных полей, затем рыжие, с серыми проплешинами скалы, рассеченные глубокими каньонами, дальше и совсем что-то лунное или марсианское — красное, сизое, голубое. В Асмаре нас ждали прохлада и ле-

дяное бельгийское пиво. Я, по-видимому, засыпал, когда монотонный гул двигателя вдруг рассек сухой треск, по левой ноге полоснула острая боль, стало трудно дышать, последнее ощущение — запах топлива, дальше — темнота. В себя я пришел в светлой комнате, справа на никелированной подставке розовел на солнце пластиковый мешок капельницы. Наверное, я находился в невесомости, потому что доктор в маске и зеленом халате свободно парил надо мной, временами потоком воздуха его сносило в угол палаты, но он, загребая руками, снова подплывал ко мне. Какое-то время я не жил, а когда возвращалось сознание, мое бытие было наполнено однообразными действиями: меня перекладывали на носилки, куда-то везли, потом, судя по звуку, перелет и снова путешествие на поскрипывающей каталке. К жизни я вернулся только в палате армейского госпиталя в Аддис-Абебе. О том, что с нами произошло, рассказал мне сосед по морской вилле майор Коля Чумаченко. Наша перегруженная «вертушка», с трудом преодолев хребет, поплелась на высоте значительно ниже предусмотренной инструкцией. Тут по нам и резанули из пулемета сепаратисты с одного из горных постов. Результат: один убитый, два раненых, пробит топливный бак. Хорошо еще, пуля была на излете, отверстие небольшое, и на остатках горючего удалось «вертушку» дотянуть до предместья Асмары. Коле перебило руку, но он быстро шел на поправку, мне повезло меньше — сквозное ранение в грудь и огнестрельный перелом нижней трети бедра.

О том, что дела мои, как говорится, швах, я понял по тому, как забегал персонал. Меня перевели в реанимацию, чьи-то нежные руки приложили к губам пахнувший резиной раструб, в легкие стала затекать холодная, с острыми пузырьками вода. Палата заполнилась зеленым светом; впрочем, кажется, я лежал не в палате, а на дне бассейна, отделанном белым кафелем. Рядом со мной присел Гриша Снесарь, на нем были выгоревшее «хэбэ» и кирзовые сапоги. В такой форме в институте мы участвовали в тактических учениях.

— Ты не мандражируй, — сказал Гриша, поглаживая шрам на лбу, — там так же, только спокойней.

Гриша исчез, и все пространство палаты заполнили отвратительные мохнатые пауки, они бегали по моему распростертому телу, я ощущал уколы их острых коготков. Затем беспамятство, темнота, даже не темнота, как бы серая предрассветная муть, наполненная надоедливый, монотонным гулом. Нет, я не видел ни черного туннеля, в конце которого голубело круглое отверстие, не испытал ощущения полета и понял, что умираю, по снизошедшему на меня покою и чувству абсолютной свободы. А когда я очнулся в реанимационном отделении Центрального военного госпиталя имени Бурденко, первое, что испытал, — сожаление: жизнь возвращалась ко мне. Меня перевели в одноместную палату для тяжелых больных. И всякий раз, выныривая на поверхность медикаментозного сна, я видел перед собой усохшую, согбенную фигуру тети Поли, дремлющую в кресле, реже — отца в белом халате и не испытывал к ним никакого чувства. Нас разделяло нечто. Что именно, я не мог объяснить; проще говоря, я еще был там, а они здесь.

В Москве стояла влажная духота, в открытую форточку залетал тополиный пух. Я постепенно возвращался к жизни, с обостренной зоркостью наблюдал за тем, что происходит в травматологическом отделении. Рана в груди зажила быстро, а вот бедро доставляло немало неприятностей. Огнестрелов в ту пору в госпитале было мало, я оказался в центре внимания. У меня через день дежурила тетя Поля, заезжал отец. Говорили мало.

Однажды появился генерал — начальник госпиталя, с ним еще два генерала, и мне прямо в палате вручили коробочку с орденом Красной Звезды. Внешне я выздоравливал, шустро скакал на костылях по госпитальному парку. Меня не беспокоило пробитое легкое, да и нога стала заживать, а вот в образовавшейся за грудиной пустоте поселилось тупое, холодное равнодушие. Как жить дальше, я не знал. Одно ясно: меня комиссуют. Кому нужен хромой переводчик? И служить я больше не хотел. Снова участвовать в «неизвестных» войнах? Во имя чего? Гриша был прав: правители страны утратили ясность ума и потеряли контроль над ситуацией. С отцом я на эти темы не говорил, он курировал в ЦК легкую промышленность, но, как ни крути, все равно был функционером со Старой площади. А тут еще меня навестил однокашник по институту Гоша Симонян. Гоша из «арабистов», заканчивал Академию Советской армии, готовился стать разведчиком. Мы, укрывшись в одном из уголков госпитального парка, распили бутылку армянского коньяка, разговорились.

— Вокруг Афганистана началась нездоровая возня, — сказал Гоша. — Есть информация, что американцы хотят в Афгане установить в горах ракеты, чтобы контролировать значительную часть нашей территории. Если так — то это война. Все это выглядит очень странно. Я дважды побывал в командировке в Афганистане. Наши границы почти не охраняются, афганские и наши пограничники ходят друг к другу в гости чай пить. В стране работает много советских специалистов — инженеров, врачей, учителей, и народ к ним относится хорошо. Нет, нам не нужна эта война. Говорю это не потому, что мне светит Афган. Зачем воевать с соседом, который к тебе хорошо относится?

Сколько раз потом я буду вспоминать этот разговор! Вскоре началась война, Гоша угодил в самую мясорубку и вернулся в родной Ленинакан в виде «груза 200». А затем небо над Афганом и вовсе померкло, солнце затмили крылья транспортных самолетов с поэтическим названием «Черный тюльпан», развозящих по всей стране гробы с русскими парнями, до конца выполнившими свой «интернациональный долг».

Я провалялся в госпитале два месяца.

4

Война преследовала меня в снах, видениях, воспоминаниях — ярких, отчетливых, фрагментарных.

Вот мы несемся на джипе мимо белых каменных оград, увитых бугенвиллеей, за оградами брошенные виллы, зияющие черными провалами окон. Посреди зеленого поля для игры в гольф по башню врыт танк, выкрашенный в желтый пустынный цвет. Узкие улочки, косые тени от развалин, в одном из уцелевших домов порта Массая открыт магазин экзотических морских редкостей. В глубине магазина из застекленных шкафов таращат глаза рыбы-ежи, белеют пирамиды кораллов, отливают перламутром раковины. Лиловое чучело меч-рыбы укреплено под потолком, на небольшом подиуме замерли морские черепахи. Только что сепаратисты обстреляли улицу из минометов, и в распахнутую дверь затекает кисловатый запах тола. Дом старый, с толстыми стенами. Мы все же успели заскочить в магазин, наш джип лежит на боку, задние колеса вращаются, по мостовой растекается темная лужица бензина. Секунда-другая, и рванет. Морской пехотинец майор Деревянко, тучный, кривоногий, снимает продырявленный осколком берет и сиплым баском спрашивает хозяина:

— Синьор, джин, виски йес?

— Йес, йес! — радостно откликается хозяин магазина, старик итальянец, и достает из холодильника бутылку джина «Олд мен». Стаканов нет, взрывной волной перебило всю посуду. Удивительно, что в городе еще есть электричество.

— Мужики, что вы как неродные? — удивляется Деревянко. — Давайте из горла. Считай, заново народились...

Меня бьет озноб... Пока мчались вдоль портовых складов, было не страшно...

...Вертолет, окутанный дымом, накренившись, уходит в сторону моря. Черный дым, голубизна. Кранты, братцы! Поддуть спасательные жилеты. Сквозь плексиглас виден силуэт нашего тральщика. Прыгай! Вода, мысли об акулах. Трупы избаловали акул. Вертолет шипит, тонет... Пилот вытаскивает «макарыча». Огляделся, нет ли тварей. Шлюпка, поднимают на борт тральщика. Рассказ замполита о сражениях советских кораблей в Красном море...

...Горячий песок затекает в траншею, питьевая вода во флягах закончилась, лица у офицеров рекогносцировочной группы покрыты шевелящимися масками — это маленькие серые мухи, отгонять их бесполезно, они повсюду, словно рождаются из праха. Ветерок доносит характерный трупный запах. Единственное сооружение на острове Нокра — итальянская тюрьма, точнее, ее развалины. В них размещен взвод эфиопских правительственных войск, среди солдат полыхает эпидемия желтухи, по утрам слышен лязг — санитары пытаются кирками выбить в каменной столешнице острова подобие могилы. Из дымки, зависшей над Красным морем, возникает силуэт морского буксира. Я подношу бинокль к глазам и вижу наш флаг. Слава тебе господи! Первое, что я сделаю, ступив на борт буксира, — выпью ведро воды...

...Южный Йемен. Ночь. Нас четверо. Мы пересекаем взлетно-посадочную полосу. У здания аэропорта, прямо на земле, белеют фигуры бедуинов, устроившихся на ночлег. У каждого в изголовье транзистор, восточная мелодия уносится вверх, теряясь между звездами. Где-то в отдалении кричит ишак...

...Ан-24 завис над Средиземным морем. Внизу — Турция. Я сижу на разномысле рядом с радистом, в выгородке кабины пилотов. Колпак искрится на солнце, а в промежутке между облаками вспыхивает и гаснет море, оно то голубое, то серое, в мутных пенистых разводьях. Пилот в солнцезащитных очках спокойно говорит: «Слева — истребитель». Точно, «фантом», старый знакомый. И что ему, суке, нужно? Пилот истребителя машет рукой, улыбается — белозубый негр. Наш второй пилот показывает ему дулю...

Я пробовал пить водку — не помогло, кошмары и вполне реальные видения продолжали преследовать меня. И тогда я стал рисовать, переносить весь этот бред на бумагу, и сразу же почувствовал облегчение. Я работал в смешанной технике: тушь, перо, карандаш, пастель — все это ложилось на заранее нанесенные акварельные пятна. Из пестрого хаоса начинали проступать гавань Массая, в которой тонул дымящийся вертолет, а справа от причала, задрав к небу ржавый киль, лежала на боку королевская яхта. Особенно часто повторялся мой автопортрет в полукружии прицела крупнокалиберного пулемета.

Миновала тихая осень, за ней серенькая, бесснежная зима, а вот весна вышла бурная, с обвальными дождями, громовыми раскатами и буйным кипением сирени.